ПАНОРАМА МИРОВОЙ ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ

Философская мысль: рецепция и интерпретация

НИЦШЕ ЧИТАЕТ ДОСТОЕВСКОГО

Кое-какие русские книги, прежде всего Достоевского... я отношу к числу тех вещей, которые явились в моей жизни величайшим облегчением.
Ф. Ницше

В.Н. МИРОНОВ

Близнецы-антагонисты

Русская литература потому и стала великой, что показала всему миру главную тайну русского человека, «схватила» нашу историю в ее самом главном антагонизме. Пушкинская целостность русской литературы с появлением Гоголя раскололась на два радикально противостоящих друг другу направления – линию Достоевского и линию Толстого. Различие между мирами этих двух художественных гениев фундаментально. Эти великие писатели создали, по сути, разные миры. Анализ стержневого объекта литературы – отношения «человек – люди» Достоевский центрируют вокруг первого члена диады, тогда как Толстой и его адепты – вокруг второго. Хотя оба направления исследуют человеческую индивидуальность, делают это они по-разному. Достоевский исследует внутреннюю динамику личности через ее отношение к самой себе, через отношение «Я – Я». Он показывает отъединенность своего героя от людей как фундаментальное онтологическое состояние. Его герой радикально одинок, он – в подполье. Это человек без людей. Достоевский изображает по сути слом социальности; его герои неистово проявляют свою волю, «своевольничают». Они одержимы, их «несет». Отсюда ощущение неистового драйва, неукротимой человеческой мощи, которой веют его романы.

Такой способ художественного видения и подачи мира позволяет Достоевскому радикально ставить под вопрос требования человеческого общежития, т.е. мораль. Эта страшная правда разрушает сам образ существования людей. Это нечто – опасно и самому автору и его читателям. Достоевский добирается до неразложимого и элементарного вещества каждой личности. Толстой же берет личность в ее отношении с социумом. Он никогда не забывает о других людях, они всегда присутствуют в его анализе отдельной души. Его герой никогда не одинок. Несмотря на все трагедии он – часть мира людей.

Герой же Достоевского безвозвратно отпал от людей, он – изгой. Для Толстого возвращение человека к людям закономерно. Это тема всех его произведений. Для Достоевского это возвращение невозможно в силу нежелания героя возвратиться в общество на «условиях людей», т.е. жертвуя своей самостью.

Это способ видения мира присущ не только Достоевскому, но в еще большей мере – Ницше. В произведениях Ницше философствуют почти все герои Достоевского – от Раскольникова и Свидригайлова до Шатова, Кириллова, Ставрогина и Ивана Карамазова. Герои Достоевского буквально взрываются энергией своеволия. Но та же энергия клокочет и в Ницше. Квинтэссенцией русского духа, вообще России по праву выступает Достоевский. Я полагаю, что для Ницше Достоевский явился самым глубоким и пронзительным художником своей страны. Достоевский и Ницше схожи вопиющей противоречивостью, присущей обоим.

Достоевский практически предвосхитил всего Ницше. Но при этом нельзя не согласиться с Дмитрием Мережковским, писавшем: «Нет сомнения в том, что никогда не списывал Ницше с Достоевского, не повторял слов его; и вот, однако, существуют у них некоторые совпадения, повторения, почти дословные; это не только одни и те же слова, почти звук одного и того же голоса. Как будто подслушали они друг друга или нарочно сговорились и потом нечаянно один выдает другого. Чуднее не бывает – но ведь вот не чудо ли это, не живое ли чудо Истории? Не дух ли времени здесь говорит на разных концах мира?»[1].

И далее он делает обоснованный вывод: «Хотя Ницше называл Достоевского «своим великим учителем», мы знаем, что главные идеи Ницше сложились независимо от Достоевского, под влиянием эллинского мира – по преимуществу, древней трагедии – философией Канта и Шопенгауэра с одной стороны, с другой – точных выводов современной опытной науки, идей Дарвина, Спенсера, Геккеля о биологическом превращении видов... о так называемой эволюции»[2].

В то же время в мировой духовной традиции нет больших близнецов-антиподов, чем Ницше и Достоевский. Вся борьба Достоевского была подчинена задаче спасения человека во Христе, через смирение и сострадание. Но Достоевский не был бы величайшим художником, если бы не бунтовал против христианской веры. Этот бунт был предельно радикализирован Ницше.

Мы имеем дело с удивительным духовным параллелизмом, когда Ницше и Достоевский мыслили предельно согласованно. Секрет этого параллелизма обусловлен самой сутью эпохи конца XIX века, властно задававшей парадигмы художественного и философского мышления.

Нет в мировой культуре других столь созвучных духовных лидеров человечества, которые так властно определили идейный ландшафт XX века. Именно это дало основание немецкому исследователю Рейнхарду Лауту назвать Ницше Достоевским наизнанку. И Достоевского и Ницше (при всей безбожности последнего) можно определить как духовных близнецов-братьев, вечно сражающихся друг с другом.

Все романы русского писателя построены по восходящей линии действия, стремительно развивающегося от завязки к кульминации и внезапно срывающиеся катастрофой словно в бездну. Но также построены и философские произведения Ницше: мощное сплетение идей неудержимо стремящихся к развязке. Оба состязаются с Библией с ее накалом и, прежде всего, с Апокалипсисом, самой мстительной и рессентиментной книгой мировой литературы. «...Достаточно вспомнить, – пишет Ницше в «Генеалогии морали», – только Апокалипсис Иоанна, это необузданнейшее из всех произведений, вдохновленных местью»[3]. Оба – и Достоевский и Ницше – противополагают рессентименту необъятную

силу любви. Ницшеанское «мир оправдан как эстетический феномен» и знаменитая фраза Достоевского «красота спасет мир» по сути две стороны одной и той же мысли.

Достоверно известно, что Ницше был знаком со следующими произведениями Достоевского: обе части «Записок из Подполья», «Униженные и оскорбленные», «Записки из Мертвого дома», а из романов «Великого Пятикнижия» – «Преступление и наказание», «Идиот» и «Бесы» (все во французском переводе), целые страницы этого последнего романа Ницше тщательно конспектирует. Величайший роман Достоевского «Братья Карамазовы» Ницше прочитать не успел: он рухнул в безумие. Что однако не помешало ему во многом предугадать идейную проблематику этого романа.

Рессентимент и нигилизм – ключевые проблемы в творчестве Достоевского и Ницше

Все романы Достоевского переливаются через край от избытка рессентимента. Николай Страхов в письме к Толстому так писал о Достоевском: «Он был зол, завистлив, развратен, и он всю жизнь провел в таких волнениях, которые делали его жалким и делали бы смешным, если бы он не был при этом так зол и умен». Это почти полный портрет его духовного брата Ницше.

Кажется, Николай Берковский высказал идею, что Ницше – герой Достоевского. Ему вторит и Максим Горький, имея в виду подпольного героя Достоевского: «Этот его человек вмещает в себя характернейшие черты Фридриха Ницше...»[4]. И действительно, Ницше синтетически воплощает в себя все характерные черты главных героев Достоевского: от подпольного человека и Раскольникова до Ставрогина, Ивана Карамазова и Кириллова. Ницше действительно был героем, словно сошедшим в жизнь прямо со страниц романов Достоевского. Он соединил в себе болезненное, беспомощное бессилие с неутомимой и ничем не сдерживаемой жаждой могущества и волей к власти. По сути Ницше с предельной остротой ставит все идейные проблемы, которыми мучились герои Достоевского. Ницше, как и герой подполья, одержим рессентиментом. Вся его борьба, но и борьба Достоевского, направлены на обуздание чувства

мести в себе. Ведь все, что изобрело человечество до сих пор, есть лишь системы институтов и запретов на мщение.

Страх сковывает рессентиментного человека, полностью блокируя его способность к действию, что порождает невыносимое чувство бессилия и беспомощности. Это синдром блестяще показан Достоевским на примере подпольного человека: «... Наконец, если б даже я захотел быть вовсе неве-ликодушным, а напротив, пожелал бы отомстить обидчику, то я и отомстить ни в чем никому бы не мог, потому что, наверно, не решился бы что-нибудь сделать, если б даже и мог»[5]. В свое оправдание подпольный человек обосновывает: слишком сознавать – это болезнь, говорит подпольный человек. И здесь его слова подхватывает Ницше: «Сознание есть болезнь. Там где было сознание должно стать бессознательное. Ибо только бессознательные действия совершенны». Здесь Ницше фронтально противостоит Фрейду: «Там, где было бессознательное, должно появиться сознание».

Человек подполья зол, ибо полон рессентимента. Он мстителен, ибо слаб. Достоевский мастерски показывает, как трусость отца, штабс-капитана Снегирева, убила его сына, Илюшу.

Душа подпольного человека буквально пронизана рессентиментом. «Записки из подполья» – это подлинная энциклопедия рессентимента. «И в случае Ницше, и в случае «Записок из подполья» нигилизм не является собственно целью, но скорее протест или подготовительный момент»[6]. Достоевский пишет: «Только я один вывел трагизм подполья, состоящий в страдании, в самоказни, в сознании лучшего и невозможности достичь его и, главное в ярком убеждении этих несчастных, что все таковы, стало быть, не стоит меняться, не стоит и исправляться! Что может поддержать этих исправляющихся? Награда, вера? Награды – не от кого, веры – не в кого! Еще шаг отсюда, и вот крайний разврат, преступление (убийство). Тайна»[7].

Нет пороков, в которых самодовольно не признавался бы подпольный человек. Он демонстрирует поистине квинтэссенцию рабской психологии.

«Причина подполья – уничтожение веры в общие правила. ... Нет ничего святого»[8]. Ему почти дословно вторит

Ницше: «Что означает нигилизм? – Что высшие ценности обесцениваются. Утрачивается цель, нет ответа на вопрос «зачем?»[9]. Ницше гениально раскрыл проблематику рессентимента в «Генеалогии морали» и обосновал рабскую мораль подпольного человека. Это совершенно уникальная смесь неуверенности в себе, чудовищных комплексов неполноценности и затаенной обиды на весь мир.

Ницше пишет: «У кого есть причины облыжно самоустраниться от действительности? У того, кто от нее страдает. Но страдает от действительности – действительность несчастная, потерпевшая крах... Преобладание чувств неудовольствия над чувствами удовольствия – причина воображаемой морали и религии: однако такое преобладание – формула decadence...»[10]. С подпольным человеком на поприще рессентимента может соперничать лишь Павел Смердяков.

Герои романов Достоевского чудовищно исковерканы, это вызвано исковерканностью общественных отношений. Напротив, этим исковерканным людям Достоевского противопоставлены идеализированные герои Ницше.

Ницше – солнечный мыслитель, описывающий самые лучезарные стороны человеческого существования – волю, мощь, радость жизни, тотальность бытия. На его фоне Достоевский предстает художником темных сфер жизни – страдания, надрыва, чудовищного унижения. Но вдруг Достоевский начинает смыкаться с Ницше – вопреки, а может, и благодаря всем мукам и страданиям – совсем по-ницшеански в могучей радости существования. Что же противоположно рессентименту? – Гордая радость жизни.

Полную неспособность испытывать радость жизни показывает подпольный человек. Более того, в нем Достоевский являет полную атрофии способности любить. Эрих Фромм подчеркивал: « Тот, кто не любит себя, тот неспособен любить и другого». Совершенно закономерно поэтому подпольный человек на место любви ставит волю к господству, что ядовито высмеивает Достоевский и с чем бы не согласился Ницше. Он поистине прямая противоположность сверхчеловеку. Он полон непомерной ненависти и духа мщения.

Рессентимент неизбежно ведет к нигилизму: «Нигилизм стоит за дверями: откуда идет к нам этот самый жут-

кий из всех гостей?»[11], – вопрошает Ницше. Историческое явление нигилизма становится возможным со «смертью Бога». Он обозначает окончательный крах космологических ценностей, открывающих королевскую дорогу воле к власти – конечный итог которой – тотальное господство. Под впечатлением «Бесов» Ницше пишет: «Истоки нигилизма... отрыв от корней, от родного края... начинается страшно безродно... кончается жутко»[12].

За безверием нигилистов Ницше угадывает жгучую потребность в вере: «...нигилизм петербургского фасона (что означает истовую веру в неверие, готовую принять за это любые муки), что горячность свидетельствует в первую очередь о потребности в вере...». «Записки из подполья» – это, по сути, лаборатория-полигон, из которого вышли все главные герои великого «Пятикнижия». Ставрогин и Иван Карамазов – герои, полные самого жгучего рессентимента. Иван говорит о неискупимых страданиях детей и отказывается от мировой гармонии, если она будет основана на неотомщенных слезах детей «Я хочу оставаться лучше со страданиями неотомщенными»[13]. И далее Иван кричит: «Не смеет она (мать. – *В.М.*) прощать ему (т.е. генералу, затравившему ее сына псами»[14]. Альбер Камю чрезвычайно тонко замечает: «Драма Ивана Карамазова, напротив, заключается в переизбытке любви, не знающей на кого излиться»[15]. Вот смерть Бога, явленная Достоевским, задолго до Ницше.

Все герои Достоевского диаметрально противоположны ницшеанскому сверхчеловеку. Особенно это видно на примере Ставрогина, о котором Достоевский признавался, что «вырвал его из своего сердца». Совершенный нигилист Ставрогин демонстрирует сверхчеловеческую силу. Он наделен огромной силой воли, которая роднит его со сверхчеловеком. Он способен совладать с собой в сцене, когда Шатов дает ему пощечину. Однако воля его срывается со сверхчеловеческого уровня, и дух мщения переполняет его. Он мстит всем, кто встречается на его пути за одно ему ведомые несчастья. Именно в Ставрогине, этом идеальном воплощении зла, явлен феномен «декаданса» – странная смесь нигилизма и атрофии воли к власти. Расшатанность воли, неспособной класть пределы человеческому поведению, достигает кульминации в

сцене соблазнения Матреши, описанной в главе «У Тихона». Достоевский в образе Ставрогина изображает крах христианской морали смирения, в который раз демонстрируя, что художественная правда сильней религиозных убеждений. Ставрогин признается: «Я заметил, что сильный страх совершенно прогоняет ненависть и чувство мщения»[16]. Так Достоевский показывает полную противоположность сверхчеловеческому волению, преодолевающему дух мести. Тот же Тихон твердо говорит Ставрогину: «... меня ужаснула великая праздная сила, ушедшая нарочито в мерзость»[17]. Ставрогин пробует странную комбинацию страдания и разврата, лишь бы увернуться от самоубийства. Но его уже ничего не спасет.

По количеству самоубийств романы Достоевского превосходят все возможные меры. В романе «Идиот» Ипполит говорит: «Природа до такой степени ограничила мою деятельность, что, может быть, самоубийство есть единственное дело, которое я еще могу успеть начать и окончить по собственной воле[18]. Но самоубийство как раз ему и не удается в отличие от других героев Достоевского. Рессентимент выступает как психологическая первопричина самоубийства: с одной стороны, страдания, затаенная обида на весь мир становятся нестерпимыми и толкают героев Достоевского на самоубийство. Ведь рессентимент – это обморок свободы. По сути, самоубийство и безумие находятся в отношениях взаимоисключения.

Что же может быть противоядием против рессентимента? Это страшное противоядие демонстрирует сам Ницше: именно безумием он преодолевает всякий дух мести. По-видимому, рессентимент таинственно связан с безумием: Иван Карамазов, князь Мышкин и, наконец, сам Ницше, этот самый литературный герой из всех героев философии. Достаточно вспомнить, что сцена его схождения с ума в точности воспроизводит сон Раскольникова об избиении мужиками несчастной лошади. Духовное самоубийство Ницше типологически родственно самоубийству Кириллова: обоих убила идея. Оба гибнут в момент наивысшей полноты жизни, достигшей своего пароксизма.

Пожалуй, нигде так фронтально не сталкиваются Достоевский и Ницше, как по вопросу о смерти. Именно христианство возвело смерть в ранг господствующей над жиз-

нью силы. Именно смерть и страх смерти, накладывая табу на насилие, делают возможным человеческое общежитие. Уничтожая страх смерти, Кириллов ставит грандиозный, почти космический эксперимент: он сравнивается с Богом, становясь хозяином жизни и смерти.

Великая русская литература чрезмерно преувеличивает значение каждой человеческой жизни. Ницше же ставил себе задачу полностью дезавуировать ценность отдельной жизни. Только так человек обретет свободу от смерти и прорвется на уровень сверхчеловеческого. «Никогда не гибнешь от кого-либо другого, а всегда от самого себя. Только это смерть при презренных условиях, несвободная смерть, смерть не вовремя, смерть труса. Следовало бы из любви к жизни – желать иной смерти, свободной, сознательной, без случая, без неожиданностей»[19]. По сути это программа сброса смерти с ее господствующих высот над жизнью. Но, возможно, это есть и программа безумия. «Нигде больше в современной литературе, насколько я знаю, так ясно не понятно, что (говоря словами Ницше) «смерть Бога» не обязательно ведет к отчаянию, но, напротив, устраняя страх перед Адом, к новому «да» жизни... у Достоевского черт говорит почти теми же словами Ивану Карамазову: «Всякий узнает, что он смертен весь, без воскресения и примет смерть гордо и спокойно, как бог»[20].

Наверно, Ницше и герои Достоевского сходят с ума не будучи в силах терпеть мучительнейшее состояние затаенной мстительности и жгучей обиды. Возможно, безумие предстает как своего рода механизм, защищающий человека от самоубийства. Те, кто избежал бездны безумия, обречены на самоубийство: Ставрогин, Свидригайлов, Кириллов... Вместе с тем, по словам Батая, Ницше сошел с ума гениально и вместо нас. А по мнению Фуко, безумие Ницше есть некое сверхзашифрованное послание, которое мы все принуждены отгадывать.

Сверхчеловек: Достоевский, Ницше, Хайдеггер

Великая идея сверхчеловечества словно солнечный луч троекратно отразилась в творчестве этих мыслителей. По существу, мы имеем дело с уникальным в истории мировой

мысли случаем, когда усилиями Достоевского, Ницше и Хайдеггера изображается и промысливается идея сверхчеловека во всем своем блеске и богатстве. В противовес Ставрогину и Ивану Карамазову Достоевский создает совершенно положительного героя Алешу Карамазова, подлинного героя трагедии. В его образе русский писатель сущностно изображает сверхчеловека: «Что-то было в нем, что говорило и внушало (да и всю жизнь потом), что он не хочет быть судьей людей, что он не захочет взять на себя осуждение и ни за что не осудит. Казалось даже, что он все допускал, нимало не осуждая, хотя часто очень горько грустя. Мало того, в этом смысле он до того дошел, что его никто не мог ни удивить, ни испугать, и это даже в самой ранней молодости[21]. Отец Алеши, развратный и лживый Федор Павлович Карамазов, поначалу встретивший его недоверчиво, кончил тем, что искренне и глубоко полюбил его. «Алеша уверен был, что его на всем белом свете никто и никогда обидеть не захочет, даже не только не захочет, но и не может»[22]. Мережковский, сравнивая Ницше с Алешей, писал: «У Ницше была такая же неодолимая, «исступленная стыдливость и целомудренность, как у Алеши»[23]. Какой вопиющий контраст со всеми прочими героями Достоевского, полными рессентимента, т.е. затаенной обиды духа мстительности. Несомненно, Мартин Хайдеггер, который был увлечен Достоевским, вышел на понимание сверхчеловеческого именно благодаря великому русскому писателю. В блестящей работе «Кто такой Заратустра у Ницше?» Хайдеггер пишет: «Именем «сверхчеловек» Ницше как раз называет не просто человека, превышающего обычную, до сих пор существовавшую меру. Он подразумевает также не некий человеческий вид, который отбрасывает гуманность, возводит в закон голый произвол и берет за правило титаническое неистовство. Сверхчеловек... есть скорее тот, кто превосходит прежнего человека единственно для того, чтобы прежде всего привести данные существовавшего человека к его еще не осуществленной сущности и прочно установить его в ней»[24].

Хайдеггер далее вопрошает: «Откуда же исходит призыв о сверхчеловеке? Отчего больше не удовлетворяет прежний человек? Потому что Ницше уловил исторический момент,

когда человек вознамерился приступить к господству над всей Землей. Ницше – первый мыслитель, который, принимая во внимание впервые восходящую мировую историю, ставит решающий вопрос и продумывает его во всей метафизической важности. Вопрос гласит: подготовлен ли человек как человек в своей прежней сущности к тому, чтобы взять на себя господство над Землей[25]? Хайдеггер пишет: «...чтобы спасти Землю как Землю должен исчезнуть дух мщения. Поэтому для Заратустры избавление от мести есть мост к высшей надежде»[26]. По существу Ницше впервые, за 100 лет до начала глобализации, ставит в специфических терминах своей философии вопрос о глобализации, превращающий мир в единое целое. Конечно, для такого, принципиально иного мира необходим качественно иной человек. Почему же только сверхчеловек способен осуществить глобализацию и установить планетарный контроль над Землей? Какими сущностными свойствами должен обладать сверхчеловек, чтобы быть в силах объединить Землю под своей властью? Иначе говоря, что радикально отличает сверхчеловека от человека? Ответ Хайдеггера, который он вычитывает у Ницше, потрясает. Он, по сути, взывает наше обыденное представление о Ницше: «... в отрывке О тарантулах, Ницше предоставляет Заратустре сказать: “Ибо, да будет человек избавлен от мести – вот для меня мост, ведущий к высшей надежде, и радужное небо после долгих гроз”»[27]. Хайдеггер с пафосом восклицает: «Сколь странно и поразительно для расхожего мнения, которые придумали себе люди о философии Ницше. Значит, Ницше – не подстрекатель к воле к власти, к политике силы и войне, к неистовству “белокурой бестии”»[28]?

Но прервем на мгновения рассуждения Хайдеггера... Поправим крупнейшего философа XX века. Дело в том, что у Ницше самым естественным образом сочетаются обе мыслительные позиции. Могучая воля, способная преодолеть любые препятствия, является в то же время основанием и большой политики и тяги к господству, но – главное – именно эта воля реализует прорыв на сверхчеловеческий уровень.

Во главе об избавлении Ницше связывает дух мщения со всем до сих пор существующим мышлением людей: «Дух мщения: друзья мои, он был до сих пор лучшей мыслью лю-

дей; и где было страдание, там всегда должно было быть наказание. Этим положением месть сразу отнесена ко всему до сих пор существовавшему мышлению людей. В сущности "это пред-ставление и есть мышление"[29]. В соответствии с тезисом Ницше старое человеческое мышление до сих пор определено духом мщения. Люди считают свое, определенное таким образом отношение к тому, что есть, наилучшим... Если Ницше понимает место как дух, который настраивает и определяет отношение человека к сущему, то он с самого начала мыслит мщения метафизически»[30]. Иными словами, дух мщения есть ярчайшее проявление метафизики. Чтобы преодолеть дух мщения, стало быть, надо преодолеть метафизику, которая составляет сущностную особенность мышления последних 25 веков от Сократа, Платона и Аристотеля до Ницше. Ницше ставит грандиозную задачу преодоления мести (что, кстати, есть сверхцель всех религий и общественных институций от государства до морали), но при этом он остается мыслителем большой политики, взвинченной воли к власти и пророком мировых войн. По Ницше, именно мировая война глобализирует мир в единое целое (что, кстати, соответствует концепции современных альтерглобалистов)[31]. По крайней мере, мир и человек должны пройти через эту фазу: мир – к глобализации, а человек – к сверхчеловеку. Только так можно установить господство над Землей. Но вернемся к мысли Хайдеггера: «Слова "да будет человек избавлен от мести" в тексте даже напечатаны в разрядку. Ницше думает об избавлении от духа мести... Пространство этой свободы от мести ... лежит за пределами не мощного смирения с ходом вещей и самоускользания в жертву, как и вне действия вслепую и поступка любой ценой»[32].

Духу свободы от мести принадлежит так называемое вольнодумство Ницше. «Да будет человек избавлен от мести». – Если мы хотя бы лишь в приближении примем во внимание этот дух свободы как основную черту в мышлении Ницше, тогда сам по себе должен разрушиться прежний и все еще расхожий образ Ницше»[33]. Но все дело в том, что расхожий образ Ницше не разрушается. Стихии дионисийства имманентно присуща мстительность. Ницше по сути разом касается двух предельно разведенных крайностей и заполняет пространство

между ними. И это доказала история нацистской Германии и тоталитарного сталинизма в Советском Союзе.

Магия Хайдеггера как раз состоит в том, что он приобщает читателя к безупречным ходам собственной мысли. Эта излишняя детализированность его рассуждений в итоге порождает мощный эффект сопричастности к высокому философствованию. Он пишет: «Время и его “было” суть камень преткновения, которого воля не может катить. Время как переходящее – вот то отвратительное, от чего страдает воля»[34]. Речь по сути идет о радикальной санации всей психики человека: «... только если бытие сущего представляется человеку как вечное возвращение того же самого, человек может пройти через мост и, избавившись от духа мести, быть преходящим, быть сверхчеловеком»[35]. Но пойдем вслед за Хайдеггером и спросим, что же противоположно мщению: ответ дает сам Ницше. Хайдеггер ссылается на запись посмертных фрагментов: «Рефрен: Лишь любовь должна судить» – (созидающая любовь, которая саму себя забывает над своими творениями)»[36].

Завершает свою статью Хайдеггер следующим размышлением: «Кто есть Заратустра у Ницше? Он – учитель, чье учение могло бы освободить мысль от духа мщения для “Да” вечному возвращению того же самого»[37]. По сути, вечное возвращение, воля к власти и сверхчеловек – приемы для обуздания духа мщения. Итак, чтобы избавиться от духа мщения, по Ницше, мы должны всем сердцем принять мысль о вещном возвращении равного. Тогда будет преодолено прежнее мышление. Не забудем, что сам Ницше был до краев полон ресентимента, и в этом отношении может сравниться лишь с героем «Записок из подполья» Достоевского. Можно лишь поражаться мужеству самоопределения немецкого философа и русского писателя, беспощадно боровшихся в себе с духом мести. Поразителен параллелизм мышления обоих мыслителей: сама мысль о вечном возвращении иронически вкладывается Достоевским в уста черта: «Да ведь теперешняя земля, может, сама-то биллион раз повторялась; ну, отживала, леденела, мутнела, трескалась, рассыпалась, разлагалась на составные начала, опять вода яже над твердью, потом опять комета, опять солнце, опять из солнца земля – ведь это развитие, может, уже бесконеч-

ное число раз повторяется, и все в одном и том же виде, до черточки... Скучища неприличнейшая!..»[38].

Здесь, несомненно, речь идет о граничащей с безумием идее вечного возвращения, но если черт у Достоевского выводит из нее предельную скуку, то Ницше, напротив, утверждает примирение с вечно становящейся действительностью. Достоевский пытается эту идею вечного возвращения принизить и даже развенчать. Для этого он прибегает к двум приемам: во-первых, у читателя складывается необоримое убеждение в несомненном внутреннем родстве черта и Федора Павловича Карамазова. А во-вторых, Достоевский низводит эту идею до образа вращающегося вокруг Земли топора. На вопрос Ивана: «... что станется там с топором?» Черт отвечает: «Если куда попадет подальше, то примется, я думаю, летать вокруг Земли, сам не зная зачем, в виде спутника. Астрономы вычислят восхождение и захождение топора, Гатук внесет в календарь, вот и все»[39].

Поразительно, насколько в самой последней глубине однотипна этой германской коллизии внутренняя драма русской культуры. Вот ключевой диалог из Бесов Достоевского между Кирилловым и Верховенским, записанный Ницше.

«– Если нет Бога, то я Бог.

– Вот я никогда не мог понять у вас этого пункта: почему вы-то Бог?

– Если Бог есть, то... вся воля моя, и я обязан заявить своеволие.

– Своеволие? А почему обязаны?

– Потому что вся воля стала моя. Неужели никто на всей планете, кончив Бога и уверовав в своеволие, не осмелится заявить своеволие, в самом полном пункте?.. Я хочу заявить своеволие... Я обязан себя застрелить, потому что самый полный пункт моего своеволия – это убить себя самому...

“Не застрелится”, – мелькнуло опять у Петра Степановича.

– Знаете что, – заметил он раздражительно, – я бы на вашем месте, чтобы показать своеволие, убил кого-нибудь другого, а не себя... Я укажу кого, если не испугаетесь... Можно сговориться.

– Убить другого будет самым низким пунктом моего своеволия, и в этом весь ты. Я не ты: *я хочу высший пункт и себя убью* (курсив мой. – *В.М.*).

... Я обязан неверие заявить, – шагал по комнате Кириллов. – Для меня нет выше идеи, что Бога нет. За меня человеческая история. Человек только и делал, что выдумывал Бога, чтобы жить,

не убивая себя; в этом вся всемирная история до сих пор. Я один во всемирной истории не захотел первый раз выдумывать Бога»[40].

Вот программа русского революционного богонисвержения, воплощение которой толкнуло благородного одиночку Кириллова на самоубийство. Став достоянием бесов, в своем «низшем пункте» она обернулась чудовищной практикой сталинского тоталитаризма и немецкого национал-социализма. Заряды мстительности воплотились в ГУЛАГ и Освенцим.

Но разве Христос так же не ставит своей целью обуздание духа мести через смирение и любовь к ближнему и даже к врагам своим? Вот самая странная фраза из Евангелия: «Блаженны нищие духом», – что означает эта фраза? По-видимому, нищий духом – это тот, кто подавил в себе всякую волю и смирился. Как христианский художник Достоевский возвещает: «Смирение страшная сила». Именно в этом пункте Ницше максимально конкурирует с Христом, воздвигая альтернативную программу преодоления духа мщения через могучую волю в противовес христианскому подавлению воли через смирение. Именно в вопросе о сверхчеловеке конфрантационно сталкиваются русский писатель и немецкий философ. Для Достоевского сверхчеловеком был Христос, «идеал человека во плоти»[41] Ницше категорически отвергает Христа, объявляя его «декадентом». Но при этом и писатель, и мыслитель приходят к мнению, что человек подошел в своем развитии к радикальному преображению. Достоевский пишет: человек должен «переродиться по законам природы окончательно в натуру», «которая не женится и не посягает»[42]. Ницше же утверждает: сверхчеловеку нужно «новое тело». Благодаря Хайдеггеру мы знаем: сверхчеловек – это тот, чья воля настолько сильна, что он преодолевает дух мести. Это тот, кто освободился от рессентимента.

Младший современник Ницше, посещавший его в состоянии умопомешательства, Рудольф Штейнер так определяет ницшеанского сверхчеловека: «Суверенный индивидуум, который знает, что может жить по законам своего естества и который видит цель в поисках таких форм жизни, каковы соответствуют его сущности, и есть для Ницше сверх-

человек в противовес к человеку, считающему, что жизнь дарована ему для того, чтобы служить чуждому ему делу»[43].

Бог – паук

Подпольный человек выступает пламенным глашатаем самостоятельного хотения человека. Он в принципе отвергает всякую выгоду и даже утверждает предпочтительность страдания над выгодой, лишь бы человек имел возможность хотеть по-своему произволу. Провозглашая, как и Кириллов, своеволие, Ницше вскрывает самую суть бунта рабов. По Ницше, Бог должен был чудовищно отвратителен и ужасен, если создал человека по собственному подобию. Если Достоевский считает, что победа декаданса произошла из-за утраты христианских ценностей, то, по Ницше, расцвет декаданса стал возможен в силу их победы. Латентное богоборчество и неверие Достоевского переходят у Ницше в открытую конфронтацию с христианством и, по сути, со всеми осевыми религиями. Черт говорит Ивану: «... надо всего только разрушить в человечестве идею о боге... Человек возвеличится духом божеской, титанической гордости и явится человеко-бог»[44].

Почти в марксистских терминах Ницше пишет: «Человек веры, «верующий» – во что бы он ни веровал – это непременно зависимый человек, он не полагает себя как цель, вообще не полагает себе цели так, чтобы опираться на самого себя. «Верующий» не принадлежит сам себе, он может быть лишь средством, его пускают в дело, ему самому нужен кто-то, кто пожрет его. Он инстинктивно превыше всего ставит мораль самоотречения... Любая вера выражает самоотречение, самоотчуждение...»[45].

Достоевский что есть силы держится за Христа: «Мало того, если б кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы остаться со Христом, нежели с истиной»[46]. Но разве сам Христос не есть истина? Достоевский по сути допускает святотатство, выдавая свое тайное ощущение, которое он вкладывает в уста Кириллова: «Меня всю жизнь Бог мучил». Не выдает ли Достоевский свое богоборческое неверие, по масштабу не уступающее ницшеанскому? В пос-

ледней работе «Антихрист» Ницше пишет: «В странный нездоровый мир вводят нас евангелия – мир как в одном русском романе, где, будто сговорившись, встречаются отбросы общества, неврозы и «наивно-ребяческое «идиотство», – пишет Ницше в Антихристианине» и добавляет: «Жаль, что рядом с этим интереснейшим decadent'ом не было своего Достоевского, я хочу сказать – жаль, что рядом не было никого, кто сумел бы воспринять волнующую прелесть такой смеси тонкости, болезненности и ребячливости». В понимании Ницше Христос «представляет собой противоположность героического чувства, героя». И наконец, выносится приговор: «Чувство осуждения всего прекрасного, богатого, могучего, ненависть к смеющемуся. Доброта с ее величайшими контрастами в одной душе: это был злейший из людей. Без какой-либо психической справедливости. Сумасшедшая гордость, которая находит изощренное наслаждение в смирении»[47]. Ницше словно подсмотрел подготовительные материалы Достоевского к роману «Идиот».

И, в конце концов, он по сути с неприязнью отмечает: «Я знаю только одного психолога, который жил в мире, где возможно христианство, где Христос может возникнуть ежемгновенно. Это Достоевский»[48]. Достоевский в воображении, а Ницше на деле безгранично расширяет область бунта и предъявляет счет самому богу любви. Ницше полагал, что Бог умер в душах его современников[49].

Ницше тягался с самим Богом. Он хотел отменить его творение и заново сотворить мир «по-новому штату» (говоря словами Достоевского). В своем богоборчестве Ницше идет уже напролом: «Над нами нет больше абсолютно никакого господина; старый мир оценок есть богословское построение – теперь он опрокинут. Короче: над нами нет никакой высшей инстанции: насколько Бог вообще возможен, мы сами теперь Бог... Нам нужно себе приписать атрибуты, которые раньше мы приписывали Богу...»,[50] – конспектирует Ницше «Бесы».

«Когда покорность представляется ему [народу. – *В.М.*] полезным делом, а добродетель побежденного – первым условием сохранения жизни, тогда обязан перемениться и бог... А теперь он просто добрый боженька... На деле нет для

богов другой альтернативы – либо ты воплощаешь волю к власти и остаешься божеством племени, либо ты воплощаешь бессилие к власти, а тогда ты хорош, благ...»[51]. Это по сути парафраз рассуждения Шатова о богах как квинтэссенции народного духа. По-видимому, не без влияния Ницше, великий поэт советской эпохи Владимир Маяковский, не в меньшей мере, чем Ницше, также герой Достоевского пишет: «Я думал ты всесильный Божище. Видишь, я нагибаюсь, из-за голенища достаю сапожный ножик.

Последует ли сейчас убийство бога?» Метаморфоза Бога с превращением в паука, совсем как в рассказе Ф. Кафки «Превращение» окончательно развенчивает идею Бога.

Ницше словно по пятам идет за Достоевским и открывает грандиозный образ Бога-паука: «... Каждая мысль и каждый вздох и все несказанно малое и великое в твоей жизни должно заново вернуться к тебе, и все в том же порядке и той же последовательности, – также и этот паук и этот лунный свет между деревьями, также и это вот мгновение, и я сам... Разве ты не бросился бы навзничь, скрежеща зубами и проклиная говорящего там демона? Или тебе довелось однажды пережить чудовищное мгновение, когда ты ответил бы ему: «Ты – бог, и никогда не слышал я ничего более божественного!»[52]

Поражает почти дословная символика: Достоевский в «Преступлении и наказании» вкладывает в уста Свидригайлова представление о вечности как деревенской бане с пауками. «Бог стал Пауком», – говорит Ницше в своем «Антихристе» по поводу метафизики вообще и Спинозы в частности; и здесь опять как будто нечаянно прикасается Ницше к самой страшной и тайной мыли Достоевского, как будто вслух повторяет то, что Достоевский шепнул ему на ухо. «Что же: Бог – паук?!»[53]

Примечания

[1] *Достоевский Ф.* Полн. собр. соч. В 30 т. Т. 21. С. 160.
[2] *Мережковский Дм.* Л. Толстой и Ф. Достоевский. Вечные спутники. М., 1995. С. 306.
[3] *Ницше Ф.* Собр. соч. в 2-х т. М., 1997. Т. 2. С. 432.
[4] *Горький М.* Собр. соч. В 30 т. Т. 27. М., 1973. С. 313.
[5] *Достоевский Ф.* Полн. собр. соч. Т. 5. С. 103.
[6] The Matrix and philosophy. Chicago and La Salle. 2002. P. 158.
[7] *Достоевский Ф.* Полн. собр. соч. Т. 16. С. 329.

[8] Там же. С. 330.
[9] *Ницше Ф.* Воля к власти. М., 2005. С. 31.
[10] *Ницше Ф.* Собр. соч. В 2-х т. Т. 2. С. 29 – 30.
[11] *Ницше Ф.* Воля к власти. С. 29.
[12] *Ницше Ф.* Полн. собр. соч. В 15 т. Т.3. С. 136.
[13] *Достоевский Ф.* Полн. собр. соч. Т. 14. С. 223.
[14] Там же.
[15] *Камю А.* Бунтующий человек. М., 1999. С. 129.
[16] *Достоевский Ф.* Полн. собр. соч. Т. 11. С. 17.
[17] Там же. С. 25.
[18] См. там же. Т. 8. С. 344.
[19] *Ницше Ф.* Собр. соч. В 2-х т. Т. 2. С. 53.
[20] *Арендт Х.* Люди в темные времена. М., 2003. С. 265.
[21] *Достоевский Ф.М.* Полн. собр. соч. Т. 14. С. 18, 19.
[22] Там же. С. 93.
[23] *Дм. Мережковский.* Л. Толстой и Достоевский. Вечные спутники. М., 1995. С. 26.
[24] *Хайдеггер М.* Кто такой Заратустра у Ницше? // Топос. 2000. № 1. С. 52.
[25] См. там же. С. 26.
[26] Там же. С. 52.
[27] Там же. С. 55.
[28] Там же.
[29] Там же.
[30] *Хайдеггер М.* Кто такой Заратустра у Ницше? С. 56.
[31] См.: *Хард М., Негри А.* Множество: война и демократия в эпоху империи. М., 2006. С. 13 – 87.
[32] *Хайдеггер М.* Цит. соч. С. 55.
[33] Там же. С. 58.
[34] Там же. С. 59.
[35] Там же.
[36] Там же.
[37] Там же.
[38] *Достоевский Ф.М.* Братья Карамазовы // Полн. собр. соч. Т. 15. С. 79.
[39] Там же. С. 75.
[40] Там же. Т. 10. С. 470 – 471.
[41] Там же. Т. 20. С. 178 – 179.
[42] Там же.
[43] *Steiner R.* Fridrich Nietzsche. Ein Kampher gegen seine Zeit. Dornach, 1985. S. 42.
[44] *Достоевский Ф.* Полн. собр. соч. Т. 15. С. 83.
[45] Там же. Т. 28. С. 176.
[46] Там же.
[47] *Ницше Ф.* Собр. соч. в 2-х т. Т. 2. С. 802.
[48] Там же.
[49] Камю А. Бунтующий человек. М., 1999. С. 141 – 142.
[50] *Ницше Ф.* Полн. собр.соч. Т. 13. С. 135.
[51] Ницше Ф. Собр. соч. в 2-х т. Т. 2. С. 30 – 31.
[52] Там же. Т. I. С. 660.
[53] *Мережковский Дм.* Цит. соч. С. 310.